

Софья ПРОКОФЬЕВА

ГОДЫ 1936-38

1936 год

... Началось у меня это с весны 1936 года. Это – ощущение чего-то непонятного, беспокоящего, неотвратимого. Слухи о массовых ленинградских выселениях коммунистов и комсомольцев, голосовавших когда-то за зиновьевскую, либо троцкистскую резолюции, и граждан, имевших в прошлом какую-либо “щербинку”, вроде не того происхождения или подозрительных знакомств, подтверждались Георгием Евгеньевичем*, приходившим с заседаний Особого совещания в очень подавленном состоянии. На мои расспросы, отчего он не похож на себя, он отвечал:

– Через каждое Особое совещание проходит триста человек. Это значит – триста семей вышиблено из жизни. Легко это?

Тогда ОСО, к счастью, не имело права давать более 5 лет высылки.

– Необходима ли такая жестокость? – спрашивала я.

– Это указание Политбюро – очистить столицы, чтобы не повторилась история с Кировым.

И я верила, впрочем, как и все мои товарищи, с которыми приходилось говорить об этом, что жестокие меры необходимы во имя спасения революции.

Помню, в 1936 году, в один из приездов Михаила Кольцова из Испании, он рассказывал о беспечности республиканцев, о романтично-наивной доверчивости к врагу. Георгий Евгеньевич противопоставил этому нашу жесткую политику репрессий, на которую ориентирует органы безопасности Сталин, и никто из нас не возражал. Мы принимали все, как должное. Была вера в Сталина, в Политбюро, в непреложность авторитетов, был страх перед надвигающимся на Европу фашизмом и было ... смятение, сомнение – нужна ли такая жестокость внутри страны? Против кого она? Неужели за 19 лет советской власти народ так мало оценил то, что он получил? Что есть угроза поддержки фашизма? Выходит, мы, большевики, не завоевали доверия народа, если отдельные недовольные режимом люди (в конечном счете, это единицы!) смогут повести за собою массы, сделать их “пятой колонной”. И почему “пятая колонна” – коммунисты и комсомольцы? Я много думала об этом, говорила с Георгием Евгеньевичем и с Николаем Поповым. Но слишком велика была сила авторитета Сталина и Политбюро. Кроме того, в моей личной жизни

* Муж Софьи Прокофьевой Г. Е. Прокофьев.

произошло очень тяжелое событие: застрелился мой сын Георгий, и это заслонило от меня все остальное.

Вскоре, однако, я начала ощущать вполне конкретные отголоски репрессивной политики: в объединении стали исчезать люди, и вовсе не плохие, не глупые и вполне советские.

Июль, август, сентябрь 1936 года. Бухарин под домашним арестом. Ведется следствие. Георгий Евгеньевич рассказывает (очень скупно, как всегда), что следствие ведут Ежов и Агранов. Ягода почти отстранен от руководства. Чувствую даже по очень сдержанным словам, что Г. Е. многого не понимает и чем-то тяготится. Он руководит экономическим управлением. Аресты среди технической интеллигенции учащаются. У меня такое чувство, что Е. Г. сам начал сомневаться в правильности того, что делает. Я ему об этом сказала. Он не возражал. Я посоветовала ему подать заявление об уходе.

— Нас не увольняют, а убирают, — был ответ.

И все-таки о чем-то он имел разговор с Ежовым, о чем — он мне не сказал.

1 октября 1936 года. Ягода был снят с поста наркома НКВД, его заменил Ежов.

Г. Е. через Ежова подал заявление об увольнении из органов. Ежов напомнил ему их недавний разговор и предупредил:

— Подумайте, не лучше ли будет для вас остаться.

Г. Е. перешел в наркомат связи и ни одного дня не работал в органах под руководством Ежова.

Хотя я теперь уверена, что и до Ежова было немало дров наломано работниками НКВД, в том числе и Г. Е., его неучастие в ежовской эпопее дает мне некоторое удовлетворение. А то ведь то ли могло быть...

Вскоре начались аресты и среди чекистов. Одним из первых был арестован Г. Молчанов, нарком НКВД Белоруссии, а до того начальник СПО.

1937 год

37 год начался тревожно. В учреждениях царил атмосфера подозрительности и слежки друг за другом. Все чаще навевались люди в чекистской форме, вскрывали столы руководящих работников, забирали бумаги. Люди, до того бок о бок работавшие с арестованными в течение многих лет, боялись упоминать их имена, чтобы не навлечь на себя подозрение в "преступных связях" и "потере бдительности". На общих собраниях и в газетах арестованных клеймили, как врагов народа. Люди переставали общаться друг с другом.

Февральско-мартовский пленум ЦК еще больше усилил подозрительность. Искренне доверявшие партии люди упрекали себя, что повидимому, проглядели эти "сотни тысяч засланных шпионов" и вглядывались в

каждого человека. Обыватели из трусости и "на всякий случай" присматривались в учреждениях, домах и на улицах, прислушивались, не прозвучит ли где-нибудь что-нибудь подозрительное и писали заявления. А негодяи и подлецы, склочники и клеветники получили широкое поле деятельности. Установка, данная Сталиным, об обострении классовой борьбы по мере успешного строительства социализма, действовала во всю. Иногда люди просто перестраховывались из чувства страха.

5 апреля 1937 года арестовали Ягоду. Публикация в газетах была особенная, до тех пор не встречавшаяся: "отрешен". Стало еще страшнее. Я никогда не питала особого уважения и симпатий к Ягоде, человеку незначительному, неумному, хитрому и честолюбивому, для которого Фуше был идеалом государственного деятеля, но эта формулировка звучала зловеще. А через 5 дней, естественно, был снят с работы Г. Е. и так же естественно стал ждать ареста. Он говорил:

— Моя совесть чиста. Я выполнял то, что предлагали Сталин и Политбюро. Перед партией и родиной я ни в чем не виновен. Но я буду расстрелян. Такие как я слишком много знают.

Ожидание было невыносимым.

— Я застрелюсь. Напишу письмо Сталину и застрелюсь, — сказал мне Г. Е. за день до ареста.

Его письмо к Сталину начиналось так: "Я верил в то, что делаю нужное для партии дело. Я верил партии и Вам."

Он попросил меня уйти. Мы простились. Я была на седьмом месяце беременности. Г. Е. очень жалел меня. Что я перенесла, не хочу вспоминать. Я чувствовала, что мое сердце сжалось в кулак и я окаменела. Я сидела в своем кабинете на работе и ждала звонка из дома. Раздался звонок. Стены комнаты зашатались. Вот-вот я услышу голос няни: "Несчастье..." Голос Г. Е.:

— Я передумал... Я передумал, потому что ни в чем не виноват, а не потому, что струсил. Пусть расстреляют. Хоть разберусь, в чем дело...

12 апреля ночью приехал М. П. Фриновский и арестовал Г. Е. Последние его слова:

— Верь мне...

... У нас с Г. Е. были друзья, которые казались мне верными. Были до конца искренние душевные ночные беседы, когда делишься всеми мыслями и чувствами без позы, без предвзятости, когда выговариваешься до самого дна, когда ждешь ответа на сомнения. Такими друзьями казались мне Николай Попов, Иосиф Фельдам, Женя Лютомская, Владимир Луговской, Александр Афиногенов, Габриэль Шанина, Валентин Котляревский. Я не хочу упрекать их в малодушии. Они не верили в преступность Г. Е. но...

— Не может быть, чтобы без основания его арестовали... Что-то, видно, есть...

И не то, чтобы они отвернулись от меня. Их участие было искренним. Но... в тот же день за мной потянулся "хвост". Двое молодчиков в синих

плащах, следуя за мной неотступно, следили за каждым моим шагом, сопровождали всех, кто ко мне заходил, навязчиво и откровенно щелкали фотоаппаратами. Кому это может быть безразлично?

В издательстве я продолжала работать. Сообщила в тот же день секретарю парткома об аресте Г. Е. и стала подготавливать передачу издательства, так как должна была уйти в декретный отпуск.

Срочно заканчивала к сдаче в печать очередной номер "Огонька" и "День мира" — на время пребывания М. Кольцова в Испании я стала, помимо директорства в издательстве, заместителем его по "Огоньку" и "Дню мира".

Мои товарищи по работе (Н. Флакс, Т. Смольская, С. Абданина, Е. Зозуля и многие другие) очень тепло и отзывчиво отнеслись ко мне. В издательстве я работала 10 лет, была секретарем парткома, бессменным пропагандистом и агитатором. Многие члены нашего коллектива обучались в кружках, которые я вела, многих, как директор издательства, я выдвинула по работе, со многими просто дружила в процессе строительства нового жилого дома, домов отдыха, детсада, по работе в редакциях. Я чувствовала локоть друзей. Мне верили. В апреле приехал Михаил Кольцов. С Мишей мы дружили с 19-го года, когда работали вместе в газете "Красная армия" 12-й армии. А с 27-го года работали в издательстве. Сколько моральной поддержки внес он в эти тяжелые дни своим умным и теплым участием...

Но вот я в декретном отпуске. Кольцов уехал. Я не работаю. Я осталась одна с маленьким сынишкой. Мои "телохранители" делают для меня невозможными встречи даже с близкими родными. Только отец и мать навещают меня. Не желая огорчать их, я говорю с ними бодрящим голосом. Телефон явно на приколе. Избегаю отвечать на расспросы друзей и звонить, чтобы никого не подвести. На людях держусь прямо, задрав голову и только наедине с сынишкой позволяю себе сгибаться и говорить "плачным голосом" ("Отчего ты говоришь плачным голосом?" — спросил он меня, когда я ему рассказывала про зверушек).

И я хожу, хожу, хожу по улицам Москвы иногда все вечера, ночи до зари, хожу по переулкам и площадям. У меня такое чувство, что я всю Москву, любимую Москву должна вобрать в себя. Мой "хвост" доводится моим хождением до полного изнеможения. Не выдержав, однажды в 3 часа ночи он подошел ко мне:

— Скоро вы пойдете домой? Чего вы все бродите?

В Москве становится все тревожнее. В каждом наркомате, учреждении, в райкомах и даже на предприятиях исчезают люди. Большевики, комсомольцы, профсоюзные работники, профессора, инженеры, директора. Кабинеты пустеют, в ведомственных домах на дверях сургучные печати. В доме правительства, в домах наркоматов целые подъезды запечатаны. На каждом партийном собрании выносятся решения: "Исключить такого-то... как врага народа... Исключить такую-то... как жену врага народа..." Меня еще щадят, так как я донашиваю последний месяц, ждут (по согласованию с К. П. Чудиновой, секретарем Свердловского

райкома) родов, но из состава райкома меня вывели, как жену репрессированного. Ходят зловещие слухи об истязаниях арестованных в НКВД; есть самоубийства среди знакомых: застрелился М. Погребинский, выпрыгнул с 8 этажа Л. Чертог, застрелился Я. Гамарник.

Арестованы люди, которых я лично хорошо знаю и которым беспредельно верю: Я. Э. Рудзутак, Г. М. Благоднаров, Каминский, Дашевский.

Когда я думаю о Г. Е., придирчиво перебираю его жизнь (22 года из нее мы прожили вместе), я не вижу ничего, что могло бы опорочить его. Единственное, чего я не знаю — того, что связано с его работой. А Я. Э. Рудзутак, честнейший, скромный, настоящий большевик, которого я глубоко уважала, — как может он быть врагом народа? И многие такие же?..

В июне — процесс военных. Якир, Тухачевский, Уборевич — люди, доказавшие преданность партии и родине. Нет, здесь что-то не так.

Но вера в то, что не могут же Политбюро и Сталин истреблять верных партии людей, была так сильна (а я знала, что без санкции Политбюро ничего нельзя сделать), что хотелось все происходящее объяснить так: я не все знаю.

Кроме того, было очень сильно доверие к чекистам, воспитанным в традициях Ф. Э. Дзержинского. И все слухи о порочных делах в НКВД о злоупотреблении властью, об истязаниях и фашистских методах допросов казались мне обывательскими выдумками и преувеличением. Не может этого быть! И кому это нужно? Ведь работники органов — большевики...

Не знаю, что для меня тогда было страшнее: личная трагедия или раздирающие мозг путаница и противоречия, вера в партию и Сталина и страшная, необъяснимая действительность, прикрываемая привычной фразеологией (которой я тогда искренне верила): ленинское единство партии; незыблемость ленинских принципов; беспощадная борьба с врагами революции. Когда я оглядывалась критически назад, то должна была сознаться, что какую-то, правда, очень незначительную, трещину оставил во мне процесс 1936 года над Зиновьевым, Каменевым, и Пятаковым, а также то, что я знала о следствии над Бухариным, о тех обвинениях, которые ему предъявляли летом 1936 года. Мне казалось, что самые ошибочные партийные отклонения не могли сделать Зиновьева, Каменева, Пятакова и Бухарина контрреволюционерами. Но пресловутое — “не могут Сталин, Политбюро в таком деле ошибаться”!.. И значит нам, рядовым большевикам, не все известно, — привычно успокаивало.

Страшное дело, когда в плоть и кровь твою вошла сектантская вера, непреложная, некритическая, когда формулировки становятся твоими мыслями и ты уже не можешь по-иному понимать и думать, даже если жизнь подсказывает совсем другое. Преодолеть это — все равно, что заново родиться. Я была в таком положении в лето 37 года, только я еще не родилась заново, ибо еще не поняла и не осмыслила происходящее. Но

тяжело было от этого беспредельно, так тяжело, что мало ощущались личные беды: выселение, тяжелые роды и гибель новорожденного, ожидание высылки из Москвы (жены репрессированных уже высылались). Наконец пришел и мой страшный час: исключение из партии.

Измученная, бледная, зная, что исключение неизбежно, я решила искренне сказать товарищам все, что я думаю. И я сказала, что не верю в то, что Прокофьев – враг народа, не верю в правильность действий Ежова и органов НКВД и тех массовых арестов, которые происходят, так как знаю, что арестовали многих честных и преданных большевиков. Я сомневаюсь, нужно ли это.

Меня исключили из партии, хотя опорочивающих лично меня выступлений не было. Но выразить недоверие Ежову и органам НКВД в лето 37 года, открыто осудить аресты было опасным безумием, и даже самые принципиальные и смелые мои товарищи по парторганизации от меня отшатнулись, ожидая моего ареста.

В вечер моего исключения у меня было чувство, что я пережила собственную смерть. Все, что насыщало мою жизнь смыслом, устремлениями было у меня вырвано. Я всегда остро чувствовала через партию свою связь с огромными делами своей эпохи, своей страны. Я привыкла считать себя ответственной за всю советскую власть. Это давало мне ощущение, что я тоже делаю историю. И все это у меня отняли не тем, что отобрали партбилет, а тем, что партия лишила меня своего доверия, лишила права вместе с большевиками делать одно дело. Отныне ограничено мое участие в жизни. Не тем, что я не смогу более быть “руководящим работником”, а тем, что я поставлена в положение – я и они. Вопреки моим убеждениям. Недоверием партии я изгнана и отвержена.

Ощущение отверженности усиливалось всей обстановкой. Мои братья и близкие друзья уже были арестованы. Знакомые при случайных встречах здоровались отстраненно и холодно. Дружеские чувства проявляли только Шура и Дженни Афиногеновы, да Сусанна Чернова, жена Луговского. Они затащили меня с сынишкой к себе в Переделкино на несколько дней. Кроме того, родители и сестра не оставляли меня.

Со дня на день я ждала ареста. Уверенность в этой неизбежности была так велика и ожидание так тягостно, что когда за мной пришли, я испытала облегчение. Как бы предчувствуя, накануне я целый день каталась на речном пароходике по Москва-реке вместе с сынишкой. Я весело погуляла с отцом и матерью, угостила пирожными няню, а уложив спать сына, опять бродила по темным переулкам Мещанских улиц, как-то особенно внюхиваясь в запахи летнего дождя и мокрых листьев. Вернулась домой в 12 часов ночи. В окне свет. Все. За мной пришли.

Итак, 25 августа 1937 года моя прежняя жизнь умерла и на 41 году началась жизнь “по ту сторону”.

К унижительной процедуре обыска, к трагической минуте прощания с трехлетним сыном я отнеслась спокойно. Во мне произошло какое-то раздвоение психики. Одна моя половина что-то делала, двигалась, выпол-

няла механически все, что полагалось в этой обстановке, а другая все фиксировала, остро и с большим интересом и старалась все запомнить, входя в неизвестность. Только несколько мгновений я была охвачена одним цельным чувством: острым ощущением прощания со свободой. Увозили меня в открытой машине и я вбирала в себя впечатления последней ночи: силуэты прохожих, дома, смех спрятавшейся в подворотне парочки, блестящие от дождя тротуары и запах мокрой зелени.

Привезли меня во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Тюремные процедуры, по-видимому, во всем мире одинаковы, потому что хотя я и в первый раз оказалась в тюрьме, все показалось мне знакомым. То же было и у Вилли Бределя в "Испытании", то же и у Ганса Фаллады в книге "Кто раз отведал тюремной похлебки". Оригинального ничего я не заметила: после одиночной предварилочки, клетушки без света и воздуха, меня ввели в камеру, где были еще две женщины. Наступила разрядка. Мне смертельно захотелось спать: пять месяцев, со дня ареста Г. Е., я толком не спала. Не обошлось без смешного: уходя из дома, я попросила нянечку уложить в мешочек пару смен белья. Оказалось, что вместо белья она положила два огромных туго накрахмаленных пододеяльника. Эти пододеяльники при обысках в этапе всегда вызывали смех окружающих. А сейчас, завернувшись в пододеяльник, как в кокон, я заснула как убитая и проспала 12 часов. Дежурный часовой не мог меня разбудить и усомнился даже, жива ли я.

Одной из моих сокамерниц оказалась Галина Бодрова. Она на меня произвела странное впечатление. Рассказала, что она экономист, родом из Курска, что открывает много заговоров, что привезли ее с юга, куда возили для очной ставки с какими-то инженерами, членами контрреволюционной организации. Бледная, с горящими черными глазами, очень измученная, она меня ошеломила, но показалась не совсем нормальной.

На ее вопрос, кто я, я простодушно назвала себя и спросила, не знает ли она по Курску Н. Миленина и Женю Линева, моих старых друзей юности. Она ответила утвердительно. О том, какие последствия были у этого незначительного разговора, я узнала случайно в 39 году от А. А. Андреевой, с которой встретилась тоже случайно в той же внутренней тюрьме. Об этом я расскажу позже.

Быть может, от того, что я выпалась, или от того, что кончилось очень тягостное ожидание ареста, я пришла в равновесие. В следующую же ночь, однако, равновесие было нарушено воплем, донесшимся через открытую форточку.

— Это допрос, — спокойно объяснила мне Галина. — Какой-то дурак не сознается.

Через некоторое время снова донесся крик. Мужской голос кричал:

— Мерзавец, сопляк, ты учился по моим книжкам!.. Не смей!..

Что происходит? Значит, побои и истязания в НКВД — не выдумка? Мне сделалось тошно. А Галина продолжала совершенно спокойно:

— Если следователь скажет: сознавайтесь! А вы не хотите, чтобы вас

били, сразу сознайтесь. Подписывайте все, что вам дадут подписать. Не захотите сразу, все равно сделаете это после битья.

Она говорила это как маньяк, однообразно и невыразительно. Мне стало страшно. У меня появилось чувство, что рядом со мной – мертвец.

Через несколько часов меня перевезли в Бутырскую тюрьму, и я больше никогда Галины не встречала, но узнала о ней через 2 года.

Когда меня ввели в “черном вороне” во двор Бутырки, меня поразили красивый цветник, яркий, со вкусом подобранный и очень радостный. Почему-то, как я убедилась впоследствии, чем вонючее и паршивее в камерах, чем более по-скотски живет арестантам, тем красивее цветники в тюремных дворах, пышнее ковры и зеркала в вестибюлях. Повидимому, этим вознаграждают себя начальники тюрем за безобразное состояние вверенных им заведений.

Через прекрасный широкий зеркальный вестибюль с толстыми ковровыми дорожками меня вводят после душа в большую комнату вроде зала с огромными сводчатыми овальными окнами, затемненными извне железными козырьками. Тускло горит лампочка, и как в банном пару (так сразу охватывает влажная духота) масса странных фигур, которые размахивают руками как крыльями, и гул, в котором нельзя ничего разобрать. Я ничего не понимаю. Мне кажется, что я попала в сумасшедший дом. Становится очень смешно. Меня впахивают в это помещение, с лязгом закрывают дверь. Первая моя реакция – смех, который я не могу удержать.

Вероятно, именно мой громкий смех привлек на мгновение внимание, и сквозь гул я услышала из разных концов комнаты:

– Софья Евсеевна! Соня!..

Иду на голос: одна, другая, третья, четвертая знакомая, еще еще... Человек тридцать не меньше знакомых женщин, даже товарищ по работе Роза Блок из “Английской газеты” – инструктор райкома, которая три дня назад меня уверяла, что “кто не виноват, того не сажают”. Окружение приветствует меня! В камере, рассчитанной на 30 человек, находится 270. вся камера заполнена сплошными нарами с одним узеньким проходом посередине. В углу – маленький стол, на который ставят бак с пищей и бак с водой. Здесь же рядом параша со своим амбре. На нарах и под нарами прямо на полу вплотную спят женщины. С нар еще можно выбраться, шагая через тела, но если вызывают на допрос женщину из-под нар, то сначала должны выползти из-под них все там лежащие на ее пути. Эта заминка очень раздражает часового, который всегда орет:

– Давай, давай скорей!

На что ему неизменно отвечают:

– Ты сам попробуй, заползи, а потом вылезай скорей!..

Как я через несколько минут разглядела, размахивают женщины не крыльями, а трусиками, рубашками, полотенцами. Они из бани, и это способ просушить свое единственное бельешко, ибо почти никому не удалось взять с собой ни одной смены белья. Мои крахмальные пододе-

яльники были исключением и все восхищались моей "предусмотрительностью".

Итак, в гамме, шуме, рассказах о воле (я была оттуда последней) прошел первый вечер. Мне, как новичку, на первую ночь уступили место для спанья на нарах (спали поочередно). Засыпая на голых досках, подложив под голову кулак, я ловила себя на том, что в суете и новизне первых впечатлений, а также от встречи со знакомыми я не отдаю себе отчета в том, что произошло. Даже мысль об оставленном маленьком сыне куда-то уплыла и не давила. Было ощущение: все образуется.

Со следующего же дня началось... Пришла студентка, полька. Она была в 1936 году арестована польской дефензивой как подпольщица-комсомолка. Ей удалось бежать к нам. Польская секция Коминтерна Михозэlsa проверила все обстоятельства ее переброски через границу и ее приняли в ВЛКСМ. После ареста Дашевского и других поляков коммунистов ее арестовали. Ей предъявили обвинение в шпионаже и в связи с арестованными поляками коммунистами. Хеля, повидимому, держалась мужественно и не поддавалась на провокации. Ее держали на допросе без сна непрерывно четыре дня. Не кормили, давали два стакана воды в день. В уборную не пускали, не позволяли снять туфли на каблуках, против глаз держали рефлектор. Здоровые парни избивали ее кулаками. Девочку привели в камеру в чулках. Ноги ее распухли, из глаз лились непрерывно слезы. Говорила она еле слышно. Мы сняли с нее заскорузлое грязное белье, постирали все над парашей, напоили кипятком с хлебом и уложили спать. Через день за ней пришли снова. Мы ее не пускали, требовали врача. Корпусной сказал, что хоть на носилках, ее все равно доставят на допрос. Страшная, измученная, она ушла и больше я ее не видела.

К вечеру после пятидневного допроса пришла Е. Маковецкая. Она была работником Наркомвнешторга по связи с заграницей, занималась организацией поставок. Еще недавно красивая, с умным и энергичным лицом, хорошо сохранившаяся женщина лет 50, она пришла после допроса старухой. От нее требовали показаний против Уншлихта, с которым она была связана крепкой дружбой. К ней, кроме обычной стойки, применялось еще унижение. Ее, культурную пожилую женщину, обзывали заборными словами; всовывали в правую руку ручку для подписи и сжимали руку как клещами. Рука нестерпимо болела. Но настроение и воля у нее не были сломлены. Она готовилась к отпору. Ее вызывали много раз, с каждым разом она физически все более слабела, но морально не сдавалась.

Была девушка с КВЖД, хорошенькая, с милой мордашкой, в золотых кудряшках. С допроса она пришла с пачкой печенья, с папиросами для своей подруги. Она весело сообщила нам, что ей говорили комплименты, пообещали свободу, если она подпишет протоколы. И она подписала, что она по заданию японской разведки была переброшена в Союз и привезла пакет какому-то Воропинову (которого, по ее же словам, в глаза не видела). Мне запомнилась эта фамилия, так как я сидела неподалеку от

нее и сказала, что она, может быть, подписала смертный приговор этому Воропинову.

– Нет, они сказали, что ни мне, ни ему ничего не будет.

Ее вызывали ежедневно, она неизменно приносила с собой папиросы и лакомства. Скольких еще людей она оговорила? Камера относилась к ней брезгливо и опасно.

Поблизости от меня лежала, и мы ее не тревожили, Натэлла Илларионовна (фамилии своей она мне не назвала), грузинка с высохшим иконописным лицом. Она казалась очень старой. Я ее застала в камере уже после ее трехнедельного пребывания в тюрьме в Лефортово. Она поднималась только на парашу, почти ничего не ела. Я помогала ей встать, приносила кипяток, упрасивала поесть и ни о чем не спрашивала. Узнав, что я коммунистка, она сказала мне, что она – старый член партии, что ее допрашивали по каким-то вопросам, связанным с Пражской конференцией, с 1912 годом. О Сталине она бросала реплики: провокатор, негодяй. Однажды ей стало плохо. Мы потребовали врача, стучали в дверь, кричали:

– У нас человек умирает!..

Вскоре Натэлле Илларионовну унесли на носилках.

Было много жен арестованных ответственных работников. их допросы сводились к заполнению анкет. Не обходилось дело и без трагических недоразумений: Роза Блок была разведена с мужем несколько лет назад, у мужа была другая семья. Тем не менее, именно Роза была арестована как член семьи и пробыла 5 лет в заключении. Было и так: сидели за одного мужа две жены, старая и молодая.

Первым вопросом к следователю у женщин, оставивших детей, было:

– Где мои дети? Что будет с ними?..

Ответ был неизменно жестокий и холодный:

– Заботу о детях врагов народа берет на себя государство. Теперь это не ваши дети.

А ведь у многих женщин дети оставались одни в квартире, так как матерей вызывали якобы на минутку в домоуправление. Оттуда же увозили прямо в тюрьму. Со мной в камере была Хвесина, врач, жена работника Моссовета. Она заперла в квартире 5-летнего сына, а сама в халате и в домашних туфлях на босу ногу из домоуправления была отвезена прямо в тюрьму.

Мы, матери, молили следователей:

– Отдайте наших детей родственникам! Узнайте и скажите нам, что с ними!..

– Обязательно сообщим вам, где дети, – отвечали следователи и... обманывали. Никто ничего не сообщал.

А были случаи еще более вопиющие: привезли женщину, жену инженера НКПС, у которой был трехмесячный ребенок. Ее вызвали к следователю повесткой по делу мужа... и не выпустили. У нее началась грудница. Это, и тревога за ребенка так на нее подействовали, что ее

разум помутился. Мы чуть не разнесли железную дверь. У меня рука была стерта в кровь от стука, пока не пришел начальник тюрьмы Попов и не пообещал мне карцер, что и выполнил. Это было единственным выполненным в тюрьме обещанием. Можно себе представить, какое у нас было настроение. Рассказы подследственных о методах следствия, свое личное горе, слухи о том, что меньше 8 и 10 лет лагерей никто не получает, систематические недосыпание и недоедание, все гнусно влияло на нас. Есть не хотелось – баланда и “шрапнель” (каша) всегда оставались. Спать же по сути было негде. Особенно часто спать было негде мне, так как меня выбрали старостой камеры и я считала своим долгом обеспечивать местом для снавших пришедших с допросов, новичков и ослабевших. У меня появилось какое-то новое отношение к людям, больше сочувствия, желаниа помочь, чувство вины за незаслуженные страдания, стыд за то, что делается в моей стране... хоть на душе у меня скребли кошки, я старалась приободрить товарищей, устраивала какие-то импровизированные концерты, сочиняла скетчи на камерные темы. Наташа Сац читала нам наизусть Пушкина, Некрасова (“Русских женщин”). Мы, жены, чувствовали себя декабристками. Регина Гуревич пела песенки, харбинская оперная певица исполняла арии, Наташа Валлентэй очень смешно играла в скетчах. Эти импровизации, становясь ежевечерним правилом, отвлекали. Прекращалось гудение от разговоров, а тишина создавала отдых от чувств. Да и исполнители были неплохи. За железной дверью, глядя в глазок, следил за ходом нашего “концерта” охранник и однажды, в виде компенсации за эстетическое наслаждение, предложил, как высшую награду:

– Если кому нужно срочно на оправку – говори, сведу.

Оправка – это вопрос далеко немаловажный в тюремном быту. Приучить свой организм к отправлениям в самое несуразное время – 5 утра и 5 вечера было очень трудно, а пользоваться парашей в такой тесноте и духоте – неприятно, да иногда и просто невозможно, ибо выносятся она два раза в сутки. Все это доставляло многим женщинам большие физические страдания. Но не эти бытовые и физические тяготы остались у меня в памяти. Запомнилось чувство острой жалости к людям и стыд за их страдания, да еще возмущение всем тем, чему я уже была свидетелем. Правда, еще теплилась мысль: может быть не все известно ЦК и Сталину, может быть, все это дело рук аппарата НКВД, которым пользуется в каких-то целях Ежов; почему же Ежову Сталин так безгранично доверяет? Как может быть не известно руководству партии то, что известно миллионам людей? Так спорила я сама с собой.

5 октября 1937 года мне объявили приговор: 8 лет лагерей, как члену семьи изменника родины.

Хоть я и была подготовлена к этому, так как в тюрьме все всегда становится известным от других, эти несколько строк потрясли меня. Изменник родины!.. Это о моем любимом человеке, самом дорогом друге, которого я знаю 22 года!.. Я не верила ни одному слову, и не было стыда

ни за него, ни за себя. Я и понимала: значит, его уже нет в живых... Значит расстрелян...

С первого дня его ареста я знала, что его уничтожат. Но теперь же его смерть стала фактом.

В день моего приговора я его похоронила. И как всегда после похорон кого-то близкого наступил страшный момент осознания того, что все кончено, и возникло тяжелейшее чувство одиночества. То, что я на 8 лет упрятана в какой-то лагерь, дошло до меня только через некоторое время. Первое, что я прикинула: сыну, Толику, будет 10 лет, когда я его увижу, а своих любимых стариков я не увижу никогда.

Я не думала о том, что ждет лично меня, как буду я жить эти 8 лет. Там видно будет. Пока же я была бесчувственна и к себе, и к окружению. Как привели меня в круглую башню Бутырок (этапная камера), так я и просидела целую ночь на нарах. И только на следующий день до меня стало доходить горе окружающих меня женщин. Нас было теперь около ста человек. Почти все — среднего возраста, “жены” (этот термин закрепился за нами); у всех оставались дети. До того времени, пока каждая не прочитала свой приговор, теплилась глупая смутная надежда: не может быть, чтобы в нашей стране человека, который ничего преступного не совершил, посадили в тюрьму. Все выяснится, все — недоразумение. Кое-кто из следователей поддерживал эту надежду, чтобы не иметь дела с горько рыдающими женщинами, чтобы менее обременительными были часы допросов. Во всяком случае, даже тюремная администрация старалась внести успокоение: вас сошлют в Сибирь и к вам привезут ваших детей.

Некоторых это успокаивало. И до истечения своих 8 лет они продолжали верить, что “разберутся”. Я, к сожалению, с первого дня поняла, что это всерьез, что если свершилась расправа над прошлым, имея в виду гибель всех видных политических деятелей прошлого, то нас желательно “изъять из обращения”, просто как свидетельство и напоминание. Но далеко не всем говорила я о своей страшной догадке: у измученных ослабевших женщин не хотелось отнимать последнее, что у них еще оставалось — надежду. И я уверяла их, что власти не лгут, что в Сибири мы встретимся с детьми. Что все образуется. Меня поддерживали еще несколько человек: Дейч, Никитина, Смирнова, Макарьян, хотя, забившись в уголок, шепотом мы оценивали наше положение довольно мрачно.

Дни в этапной камере проходили в подготовке к этапу: из рыбьих костей делали иголки, из махровых полотенец, оказавшихся у нескольких удачниц, вытаскивали нитки и штопали пришедшие в ветхость единственные чулки. Пригодились и мои знаменитые пододеяльники. Зажженными спичками (курцам разрешалось в ларьке покупать махорку и спички) мы накроили из них сорочки, штаны, чулки, платки и таким образом утеплились я, Роза Блок, Никитина. С одеждой дело обстояло просто трагично. Мы были арестованы летом, в летней одежде, — без чулок, в сандалиях, в шелковом белье и летних платьях. Нам обещали к этапу разрешить

передачу с теплыми вещами. Но, как водится, обманули. В этап нас отправили в том, в чем мы были. и если учесть несколько месяцев спанья в бессменной одежде и еженедельные прожарки ее, то нетрудно представить, в какие лохмотья превратились наши платья. Так в этих лохмотьях и отправили нас в Сибирь в октябре месяце, в телячьих вагонах.

Так или иначе, дни проходили. Но ночи... Ночь для страдающего бессонницей обитателя многолюдной тюремной камеры... Женщины спят на голых досках. Уже свежо. Стараются прижаться друг к другу. Под головами собственный кулак. Сон беспокоен от пережитого и от неудобного положения. Слышатся тяжелые вздохи. Кто шепотом, кто громко разговаривает во сне. И все со своими Мишутками, Наташеньками... Кто-то приглушенно рыдает, и вовсе не со сна, а надо же когда-то дать волю душе, сжатой горем точно тисками.

Этап. Морозный день, яркое солнце после темной камеры ослепляет. Пахнет чудесной свежестью. Дрожащих от холода, нас вталкивают в черный ворон. Никакой одежды нам не выдали. В черный, наглухо закрытый железный ящик (в нем мы себя чувствуем собаками в фургоне "гицеля") доносятся шумы уличной Москвы. Вбираем в себя эти звуки свободы, чтобы запечатлеть их в памяти навсегда...

Где-то нас выталкивают из машины. Толпа изможденных женщин, вокруг конвой из молоденьких солдат с винтовками и овчарками, пустынный перрон где-то за Красной Пресней. Далекие силуэты зданий. Без пищи и воды стоим три дня. Наконец, эшелон из 50 телячьих вагонов, загруженных до отказа (по 50 человек в вагоне) трогается в путь.

Нары в три этажа, железная печурка, но без топлива, огромная дыра в полу — параша. Из нее свирепо дует. Маленькие зарешеченные оконца где-то вверху, они заслонены намордниками и внизу из-за этого совсем темно. Мы заживо похоронены в этой холодной могиле. А поезд идет медленно, но без остановок. Мы стучим в железные двери. Но никто нас не слышит. Наконец, на станции, кто-то подходит к вагону. Мы начинаем орать и стучать ногами в дверь, требуя топлива, воды и хлеба. Паек был выдан в первый день пути на три дня, а мы едем уже четыре. Хлеб нам дают, а воду и уголь обещают дать ночью. Света же не полагается — "разглядывать нечего".

— Мы уже где-то на севере, — докладывают нам "небожители" с верхних нар.

Наутро я не могу поднять головы: волосы примерзли к железной стене (мое место у стенки). С трудом их отдираю. Буквально все промерзло до мозга костей. Я становлюсь злой. Меня выбирают старостой. На первой же остановке мы поднимаем очередной стук и вой, заявляю подошедшему начальнику конвоя: если на этой станции не дадут угля и воды, то я первая, а за мной и остальные нырнем на ходу поезда в отверстие параша. Это удачная мысль: больше всего конвойные боятся побега. Вот по этой или по другой причине, но нам выдают растопку и несколько ведер угля, воду, хлеб и по миске пресоленого рыбного кондера.

Вот тогда в этапе и сложилась песня жен, которую стали позднее распевать в пересыльных тюрьмах Сибири:

Это мы, ваши жены-подруги,
Вслед за вами этапом идем...

Песня была не очень складная по форме, но точно отражала наше настроение.

Среди нас были люди всех профессий: врачи, инженеры, журналисты, педагоги, хозяйственники. Мы не знали, что такое лагерь, но знали, что и Беломорканал, и канал Москва-Волга построены лагерниками. Ну и что ж, и мы будем работать. Мы думали так: мы завоюем доверие и будем как и прежде жить со своими детьми. Мы были так наивны – опозоренные, бесправные, оторванные от жизни, брошенные как скот в железные ящики вагонов.

Никогда так углубленно и сосредоточенно не думалось мне, как в эти длинные черные холодные ночи у раскаленной печурки под стук вагонных колес. Я взяла на себя ночные дежурства у печурки – лежать в моем углу ночью было невозможно: от стены и параша шел холод. Днем я отлеживалась на свободных местах. Сидишь на чурке, подкидываешь уголек, глядишь на золотое пламя и думаешь, думаешь, думаешь. Всю свою сорокалетнюю жизнь проверяешь, все свои ошибки перебираешь.

Я поняла, что во всем, что происходило в 37-м году, виновата и я, и мое поколение коммунистов. Мы стали жертвами того, что посеяли. Надо иметь мужество посмотреть самому себе в глаза и признать это. Разве не мы, коммунисты 20-х годов, бездумно допустили произвол, не восставая против него, не требуя объяснения почти поголовному истреблению партийных кадров? И разве не я и не мое поколение приложили руки к бездумному выполнению всего, что исходит сверху, всему, что исходило от "хозяина", к упрочению его непререкаемого авторитета? Я сама, как пропагандист, учила своих слушателей, что необходимо беспрекословно выполнять все решения партии, все указания сверху. Но мы забыли о честности, о критике, как необходимом условии соблюдения права. Мы думали только о партийной дисциплине. И если бы мы вовремя задумались и спохватились, то не было бы позорного "культа личности" с его последствиями. Когда Зиновьев и Каменев были приговорены к расстрелу, а Бухарина честили в газетах врагом народа, я сомневалась в их виновности, не верилось мне, что испытанные революционеры из-за разногласий с партией могли стать врагами. Однако я сама голосовала на собрании за одобрение расстрела, хотя мне было стыдно поднимать руку. Почему же все-таки "за"? Из-за трусости? Из страха? Нет. Была незыблемая уверенность, что как ни тяжело, так надо, раз Политбюро и Сталин так решили. В ночные часы я не раз спрашивала себя: не крылось ли за этим мое малодушие, боязнь получить ярлык "оппортунистки"? Подспудно было и это, и все же всего сильнее было воспитанное, ставшее органическим убеждение: не может ошибаться Сталин, кто я такая, чтобы "поправлять" его? Отождествление партии со Сталиным, проникшее в

плоть и кровь, стало натурой подавляющего числа партийцев. Мы отучились думать, спрашивать у своего разума и требовать от руководства, и вот результат: великое беззаконие, молчаливо одобренное коммунистами! А миллионы людей, подавленные террором, голосуют за правильность авторитарно принятых решений. Среди молчаливников-коммунистов вовсе не все бесчестны, и тем не менее, все как один – помощники беззакония. И за все это мое поколение большевиков, и я тоже, в полной мере ответственны.

Я ворошила в памяти 20-е годы, вспоминала борьбу с меньшевиками, разногласия в партии по разным вопросам. Тогда мы сомневались, заблуждались, искали истину. Мы спорили, чтобы в ней убедиться. Наши руководители убеждали, а не стращали. Я вспомнила Кронштадский мятеж, и как Феликс Дзержинский терпеливо объяснял нам, молодым коммунистам, что разгромить мятежников не значит идти против народа, а наоборот, вместе с ним, против кулацких элементов, временно увлекших за собою кронштадцев. Часть молодых чекистов тогда засомневалась в правомерности военных действий, видя в восставших матросах простой народ. Зато с какими облегченными и вдохновленными сердцами ушли мы от Дзержинского!

С тех пор мы изменились. Мы сами допустили, чтобы свершилось то, что нас смело. Мы стали частью системы диктата, уничтожающей нас.

Этими же черными ночами я пришла к переоценке многих личных вопросов. Мои “личные вопросы” были тесно связаны с тем аппаратом, который был исполнителем дела беззакония. Я недолго работала в ЧК, всего около года, но Прокофьев, да и многие из его друзей, работали там в течение 16-17 лет. Мужа я любила, была дружна с ним, знала его как человека и верила в его порядочность и личную, и политическую, честность. Он горячо и преданно любил Россию. Чувство огромной любви к родине определяло и его отношение к работе в ОЧК-ОГП-НКВД. Он говаривал: мы – ассенизаторы. Нам приходится иметь дело с говном. Конечно, иногда поневоле и руки пачкаешь. Надо оберегать руки. Иногда это очень трудно...

Повидимому, у него скребли кошки на душе, особенно в 35 и в 36 годах, когда через ОСО проходила высылка большого количества людей “подозреваемых”! Все чаще были накачки у “хозяина”. “Хозяин” – это символично звучит. Да, Сталин действительно был хозяином, которому беспрекословно подчинялись все. И это название было так принято, что даже не резало слух. И то, что чекисты были верными слугами “хозяина”, казалось почетным и достойным уважения, ибо преданность “хозяину” была эталоном преданности партии и родине, сами они были в этом убеждены и их убеждали в этом. Самые верные, самые преданные делают наитруднейшую работу, они имеют особый патент на бдительность, им дозволяется то, что невозможно для обыкновенного рядового члена партии.

Атмосфера тайны и таинственности вокруг органов привела к тому, что в 35-36 годах достаточно было объявить на партсобрании, что такой-то

член партии арестован, и никто не спрашивал: за что? Что такое сделал наш товарищ, с которым мы несколько лет были в одной организации? Не должны ли и мы знать, в чем и в ком мы ошиблись? Эти вопросы, которые каждый честный человек, а тем более коммунист, должен был задать, не задавались. А если иной наивный и спрашивал, ему отвечали: органы безопасности знают, что делают. А вам знать не положено. Так шаг за шагом выходили органы из-под контроля партии, ставились над нею. Между этим и тем, к чему пришли в 37-м году, прямая связь, и реплики следователей: наплевать или насрать мне на твой партбилет! Ты видишь, что я с ним делаю?! (швыряет в корзину для бумаг) – только закономерный итог всей системы отрыва органов от партии. А люди, тем более не очень стойкие, быстро разлагаются. Так случилось с подавляющим большинством партработников. Они пришли к 36-37 годам разложенные своей властью, которая все меньше и меньше контролировалась партией, и своими материальными и бытовыми преимуществами: квартирами, дачами, прикреплением к лучшим магазинам, лучшим бытовым учреждениям. Все это было даже предметом гордости чекистов и руководителей. "Мы строим лучше всех!" – "Мы умеем лучше всех!" Дом Совнаркома, гостиница "Москва", Беломорканал, канал Москва-Волга – всем этим гордились, забывая о том, какими методами эти сооружения строились, чьими руками. Этому чванства не был лишен и Прокофьев. И хотя он был культурнее и интеллигентнее большинства руководящих работников НКВД, он был во власти исключительности и значительности своей "ассенизаторской работы".

Я не знаю конкретно дел, которые вели органы, кроме тех, которые оглашались через средства печати, но для меня стало ясно, что было сделано много вредного. Я вспомнила Шахтинское дело. Конечно, были вредительские акты, были инженеры, оказавшиеся верными псами бывших хозяев шахт; были случаи сознательного замораживания развития угольной промышленности. Но резонанс, который получило Шахтинское дело, был сознательно раздут. Этому предшествовали прямые указания Сталина, данные в 1927 году работникам ОГПУ: для успешного развития социалистической промышленности надо создать свои, советские кадры инженерно-технических работников. Старая инженерно-техническая интеллигенция враждебна, предана хозяевам, она мешает, она должна быть уничтожена, заменена.

И пошло "обобщение". Начались аресты технической интеллигенции во всех областях промышленности и хозяйства, а затем и интеллигенции вообще, профессуры. Сколько полезных и могущих быть полезными людей уничтожено было в 27-33-м годах! Это якобы способствовало успеху первой пятилетки. Такова была линия Сталина, которой верно следовало ОГПУ и, конечно, Прокофьев, причем это принимало уродливые формы кампаний, в которые включались края и губернии. И если кампания ослабевала, ОГПУ получало от "хозяина" указания, что не надо самоуспокаиваться, терять зоркость и бдительность. И чекисты снова

старались всюду, даже такой человек, как В. Р. Менжинский руководил лично, несмотря на болезнь, всеми важнейшими делами по экономической контрреволюции и вредительству, и он поддавался "хозяйскому" гипнозу и санкционировал массовые аресты технической интеллигенции, как необходимые для успеха социализма меры.

Все это всплывало в моей памяти ночью в теплушке. И все, что случилось со мной и с моими товарищами, представало передо мной закономерным итогом всего предыдущего. Почему раньше не было у меня критического отношения к происходящему? Некогда было думать? Нет. Скорее всего, принимая все на веру, самой не думая, было легче отталкивать сомнения, которые то и дело возникали в мозгу и в душе. Во всяком случае, во мне появилось ощущение виновности Георгия Евгеньевича в том, что сейчас делалось в аппарате НКВД, хотя он с 1 октября 1936 года уже там не работал. Те, кто сейчас осуществлял фашистские допросы, когда-то работали вместе с ним и, значит, были подготовлены всем предыдущим к современному беззаконию.

7 ноября наш эшелон прибыл в Томск. Боже мой! Что за картину мы собой являли!.. Из 10 теплушек (остальные отцепили на какой-то станции) выползли на яркий солнечный свет 500 грязных, оборванных и измученных женщин в летних лохмотьях, повязанных полотенцами и тряпками. Ноги почти у всех были в летних туфлях и для тепла обмотаны тряпками. Нас качало от 30-дневной тряски, неподвижного сидения, от голода и бессонных ночей. Мы были до того страшны и необычны, что вокруг нас собралась толпа.

— Кто вы, женщины? — кричали нам.

— Жены! За мужей!.. — отвечали мы.

— Томские есть?

Повидимому, и в Томске производили аресты жен. С тротуара полетели к нам булки, папиросы, селедка, все, что нашлось в кошелках у женщин в толпе, несмотря на окрики охраны и наставленные на толпу винтовки конвоя. Мы с благодарностью ловили, что нам бросали, и нам было приятно это сочувствие простого народа, не считавшего нас врагами. В сочувствии людей мы убедились и в пути. Когда мы подъезжали к станциям, женщины, сидевшие на верхних нарах, выглядывали, несмотря на запрет конвоя, в зарешеченные окошки. И железнодорожники, и просто случайные прохожие, узнавая, что мы "жены 58-й", озираясь на конвой, шепотом говорили и пальцами показывали: "Пишите и бросайте нам!" И мы на клочках писали адреса наших родных.

Позднее, когда мы уже устанавливали связь с родными, они сообщали, что получали письма от незнакомых людей из Сибири: "... Ваша родственница, живая и здоровая, проследовала через станцию такую-то..."

На станции Тайга у нас случилась такая встреча: наш вагон стоял против классного вагона, из него вышел военный с четырьмя ромбами и с несколькими орденами. Наши его окликнули:

— Дайте папирос!..

– Кто вы?

– Жены арестованных.

– Жены военных среди вас есть?

– Есть сестры Тухачевского. Есть Угрюмова, Сатина...

Назвали и мою фамилию. Военный изменился в лице. Через некоторое время вышел его адъютант с ворохом папирос, с кульками яблок и апельсинов, с булочками и другой снедью и стал все это подавать нам в окно. Конвойный запротестовал. Тогда военный снова вышел и стал что-то говорить конвоиру, тот вытянулся перед ним. Мы же кричали слова благодарности и пожеланий, чтобы его жену не постигла та же участь. Еще долго, до отхода своего поезда стоял он у окна напротив нашей теплушки и курил одну папиросу за другой.

Уже позднее, в 39-м году, когда я была в общем лагере, мне рассказывали, что на крупных станциях (Омск, Свердловск) дежурили толпы людей, ожидая эшелоны с живым грузом, и закидывали вопросами: “Не встречали такого-то? Такую-то?” Подбирали письма, выкрикивали слова сочувствия и возмущения.

Даже среди конвоиров были люди, которые выказывали нам сочувствие и в чем могли помогали: приносили лишнее ведро воды, отдавали свою свечку, махорку, спички. И нам становилось теплее. Но по преимуществу в конвой подбирались грубые хамоватые жлобы, которые издевались над нами. Они заставляли нас при переходах из вагона в вагон садиться или даже ложиться в снег и в лужи, подталкивали прикладами стоящих: “Седай! Лягай!..” – свирепо орали они.

Однажды, выведенная из себя их грубостью, я отказалась сесть. “Лягай!” – крикнул конвоир. “Ни за что!” – “Стрелять буду!” – “Стреляй, спасибо скажу!” Я и вправду страстно хотела разом покончить со всем. Подошел командир, ему было неловко привлекать внимание прохожих, хотя редких, и он поднял всю группу.

Еще раз с благодарностью скажу: народ сочувствовал нам.

Наконец, нас, окруженных охраной с собаками, привели к какому-то зданию, оцепленному проволокой, и приказали спуститься в подвал – сырой, пустой, огромный, полутемный. В него вместились впритык человек 300. Остальных женщин куда-то увели. И тут началась паника: нас расстреляют! Я стала успокаивать плачущих:

– Стоило для этого везти нас в такую даль! Хотели бы расстрелять, сделали бы это в Москве...

Ко мне присоединилась Варго Макарян и наши общие доводы подействовали, женщины затихли.

Появились какие-то девушки в белых халатах и мужчина с папками наших дел. Переключка, проверка. Тут же на холоду нас раздевали догола и обыскивали. Это нас принимали в лагерь.

Наша статья – “член семьи изменника родины” – была непонятна лагерному начальству – мы были первыми. Потому нас окружили особыми строгостями. Поместили нашу группу в 300 человек в землянку на-

столько глубокую, что несмотря на трехэтажные нары, оконца приходились вровень с землей. В землянке было очень душно, мы жили в пару, как в бане. Дворик был очень мал, метров 50, не более. С 10 часов утра до 5 вечера мы могли выходить в него, но зима была суровая, мороз не меньше 30-35°, а мы были разуты и раздеты. Легче стало, когда к нам поместили 30 женщин из Сибири, в валенках и шубах. Они одалживали свою одежду и мы поочередно могли выбегать подышать свежим воздухом. Среди сибирячек были врачи, жены местных руководящих работников, члены партии, жены железнодорожников — машинистов, начальника депо. Была среди них бабка Мокеевна, жена стрелочника, полуслепая с трахомой неграмотная женщина, впервые в жизни увидавшая машину, когда ее с далекого полустанка заботами НКВД везли в тюрьму. Рассказывала она об этом очень колоритно:

— Приехал какой-то барин с блестящими пуговицами, начал кричать: ты, бабка, знала, что твой муж тракторист и работал в поле! Я ему говорю: батюшка барин, какой он тракторист, всю жизнь стрелочник. А в подполе, правда, мы с ним картошку перебирали. А ты не кричи на меня, барин. А он как заорет: какой я тебе барин! А раз кричит, так конечно барин. А я очень довольна. Без старика, как взяли его, было тяжело. Я плохо вижу, без хлеба сидела и коровенку нечем было кормить. А здесь хорошо: хлеб, каша есть. Только дал бы Бог — обратно не отправили...

Такая вот политическая преступница. С ней у нас была морока. Она хватала первое попавшее полотенце, это с трахомой-то. Успела заразить своих соседок.

Выделялась среди женщин, прибывших из Томска, историк Озерская. Старый член партии, профессор, она, бедняга, оглохла от нервного напряжения. Это был чудесный, добрый, очень собранный товарищ, морально поддерживавший ослабевших духом. Судьба ее была трагической: возвращаясь из лагеря после освобождения, она сошла с поезда в своей облезлой шубе (скольких женщин она обогрела!) и какие-то подонки сняли с нее шубу и зверски убили ее...

В баню нас водили через весь лагерь. Что это было за страшное место! Инвалидный лагерь для уголовников-рецидивистов Томск 2. Он состоял из землянок. Зимой, занесенные снегом, они казались неведомыми буграми, из которых выползали на свет фантастические фигуры, почти гротескные — согнувшиеся пополам каракатицы, безногие и безрукие человеческие обрубки с трясущимися головами. Мужчины кричали нам вдогонку отвратительную похабщину.

Баня соответствовала всему остальному: на полу и на окнах лед. Нам выдавали по одной шайке чуть теплой воды. Пока шла прожарка одежды, мы, мокрые и голые, по часу стояли на льду. После этих санитарно-гигиенических процедур мы несколько дней не могли прийти в себя... и снова наступал этот невыносимый банный день. Обслуживали баню

* Троцкист и работал в подполье.

мужчины из уголовников, похабничали, издевались они над нашим женским достоинством.

Эти два месяца — ноябрь и декабрь, — мне на всю жизнь запомнились, может быть, потому, что они были первыми в неволе. К этому присоединилось полное неведение о судьбе детей.

В середине декабря в барак ввалились пятеро военных. Гладкие, сытые, с красными жирными затылками — комиссия из Москвы. Мы выстроились перед ними в своих лохмотьях. Наташа Валлентэй, изящная женщина, жена летчика-испытателя, демонстративно встала в первом ряду в своих мужских кальсонах. Кальсоны были ей выданы перед этапом, так как ее легкое шелковое платье совершенно истлело.

С неподражаемой наглостью сытые здоровые начальники задавали вопросы: как вы живете? Чем вы недовольны? Какое у вас настроение? Это было таким явным издевательством, что раздались выкрики:

— Прекрасно! Мы счастливы!

Одному из военных, он оказался работником ГУЛАГа Владимировым, стало не по себе.

— Вот что, женщины, вам, конечно, плохо. Но мы сообщим вам радостную весть: вам разрешается написать родным одно письмо по схеме: 1. Сообщите, где дети; 2. Пришлите посылку с зимними вещами. Посылку вам выдадут, а по ответам родных администрация сообщит вам, где ваши дети.

Эта весть нас осчастливила: мы узнаем, что с нашими ребятами! Мы забыли все наши невзгоды.

Меня Владимиров узнал, я каталась как-то с ним на динамовском катке, и вызвал к себе, спросил, чем он может помочь. Я рассказала о порядках в лагере. Помочь он, конечно, ничем не мог, правда, сделал, что было в его силах: выдал мне бушлат и пару валенок. Придя к себе, я сказала, что и бушлат, и валенки выданы на барак.

На мой вопрос, что с нами дальше будет, он ответил, что на днях нас переведут в специальный лагерь, где будет 2 тысячи жен. Работать мы пока не будем, переписка нам не разрешается, режим у нас будет тюремный. Сказал еще, что жалеет нас.

— Кто знает, может и ваша жена окажется здесь, — сказала я и пожалела, настолько он переменялся в лице.

Нам выдали по листку бумаги и несколько ручек. Какие лица у нас были! Мы видели перед собой наших близких, мы с ними мысленно разговаривали. Каждая продлевала написание этого единственного письма, чтобы выразить в жалком перечислении дозволенных вещей всю нежность и любовь свою к старикам-родителям и другим близким.

На следующий день, морозный и ветреный, выстроили нас таких же полуодетых, кроме группы сибирячек, и повели среди бела дня, в окружении солдат и овчарок, через весь Томск в тюрьму. Нас сопровождала толпа. По дороге я думала: все это делается врагами и по наущению врагов. Вот она, самая злостная и бесстыдная антисоветская агитация. Какое неуважение к людям, к общественному мнению — все все снесут.

Слух о нашем “маршруте” разнесся по городу, прибежали родные томичанок. По тротуару рядом с нашей колонной бежала девочка лет 14 и кричала, плача: “Мамочка, мамочка!” Мы пропустили мать ближе к краю, чтобы приблизить к девочке, но солдаты, на глазах ребенка, прикладами загнали ее вглубь колонны. Ярость прихлынула к моему сердцу: пусть в меня стреляют, но я сейчас крикну, обращусь к людям. Позвольте, обращусь с чем?.. С призывами против советской власти?.. После мы много говорили об этом с Озерской, с Софьей Парадовской (мой старый товарищ по 12-й армии, была работником новосибирского обкома партии, встретились мы с ней в спецлагерях после 17 лет разлуки). Мы искали для себя объяснений, не компромиссных, а до конца. Кто руководит всей этой антисоветской, контрреволюционной вредительской деятельностью, не только истреблением определенной категории людей — руководителей и опоры советского государства, но и восстанавливает против партии и советской власти с беззастенчивым цинизмом, демонстрацией всех этих издевательств и беззакония. Ведь не делается же это без ведома партии и ЦК сатрапами в чекистской форме. Наконец, главный сатрап, Ежов, — секретарь ЦК. Парадовская приводила слова своего следователя, который на ее вопрос, зачем он добивается от нее заведомо ложный показаний на Эйхе, честнейшего коммуниста, отвечал ей:

— Так надо для пользы родины.

Ведь это же маниакальный бред. Кому и зачем это надо?

И мы уже в начале 38 года пришли к выводу: идет истребление определенного поколения коммунистов и советских деятелей, истребление, руководимое Сталиным и его приспешниками. Мы думали тогда, что это даже подготовка государственного переворота, подготовка свержения советской власти. Озерская — историк, она восстанавливала в нашей памяти эпоху французской революции и конвента. Мы искали исторических аналогий. Мы очень напряженно думали и анализировали происходящие события. Мы осознавали себя ленинцами. Это придавало нам моральных сил и достоинства. Мы пришли к выводу: ответственными за все кощунственные дела были Политбюро и ЦК во главе со Сталиным. Мы видели в них не продолжателей дела Ленина, а перерожденцев. Первой эти мысли начала высказывать Озерская. Сначала мне трудно было с ней согласиться, так сильна еще была тенденция отождествления Сталина с партией. Поэтому нелегко я согласилась с Озерской. Я искала не оправдания, нет, я искала причины, по которым руководство партии пришло к такому положению. Быть может, сказалось мое интеллигентство и склонность к самоанализу. Но я еще раз подтвердила себе, что причина и в нас, рядовых партии, которые позволили запугать себя жупелом оппозиции (троцкистской, зиновьевской, каменевской, бухаринской) и иступленно протестовали против попытки рассуждать, а тем более критиковать то, что исходит от партии. Мы вспоминали 29-31-й годы, пресловутую сплошную коллективизацию. Сколько было наделано бед, сколько разрушений произвел этот “налет” на сельское хозяйство! Среди десятков миллионов

раскулаченных было большое количество трудовых крестьянских хозяйств середняков. Насильственное насаждение ретивыми идиотами сплошной коллективизации надолго скомпрометировало в глазах крестьян (даже бедняков) разумную и прекрасную идею. Почему было допущено такое массовое извращение? С чьей санкции и по чьему указанию? И, конечно, кампания по "исправлению ошибок" отнюдь не смогла исправить сделанное зло. Насколько популярней была бы в народе коллективизация без этого преступного эксперимента!.. Подвергли ли критике мы, члены партии, эту ошибку? Даже ошибкой это не называли. Свалили вину на головопатов, исключили нескольких секретарей райкомов партии. С декабря 1929 года по апрель 1930 года я работала в Ногинском районе по исправлению "ошибок сплошной коллективизации". Приходилось разматывать катушку в обратном направлении: возвращать высланных середняков, разыскивать отобранное у них имущество, распускать насильственно организованные колхозы и создавать новые на основе добровольности. Крестьяне задавали вопросы: что же, наверху не знали, что делали не так? Я не могла отвечать, так как знала, что секретарь МК Угланов слал грозные предупреждения по прямому проводу секретарю райкома Скобкову: мало за день сделано. Когда закончите коллективизацию района? А сам Угланов посылал сводки ежедневно в ЦК и не зная истинного положения ЦК не могло, как не могло отговориться тем, что сплошная коллективизация это только ошибка снизу. Почему руководство — ЦК, Сталин, тогда честно не сказали: мы дали скороспелую неверную директиву, в этом и была ошибка. Мы, рядовые члены партии, приняли вину на себя, так как признали, что мы ошиблись, но ЦК и Сталин не могут ошибиться. Мы оказались недостаточно партийно требовательными к своему руководству, что тоже, по-видимому, было одной из причин перерождения руководства. Я отнюдь не сторонница оппозиции в партии, как одного из условий здорового состояния, я идейно боролась с оппозициями в своей пропагандистской работе не потому, что это было в методразработках и шпаргалках — я действительно считала, что линия партии правильна, а линия оппозиции — троцкистской, зиновьевской и других — ошибочна. Но не слишком ли легко мы отождествили критику с оппозицией, а оппозицию с контрреволюцией и тем пресекли критику ошибок руководства и создали диктат?

Обо всем этом, мы, несколько коммунисток, искренне с болью говорили, и это заполняло наши головы тревогой и волнениями больше, пожалуй, чем наши сегодняшние беды. Должно быть, мы, женщины, будучи терпеливыми, легче переносили бытовые трудности и несчастья, чем мужчины. Большие вопросы отвлекали нас от холода и голода. Впоследствии, когда я уже была в общих лагерях, я заметила, что когда мы сталкивались с мужчинами в этапах, то мужчин больше заботили насущные вопросы сегодняшнего дня: паек, баня, валенки. Мы же, женщины, жадно набрасывались на политические новости, на газеты. Женщин умерло в заключении относительно меньше, чем мужчин.

Итак, в конце декабря 37 года нас привезли в спецлагерь при Томской тюрьме. Там уже было около 2000 жен из Москвы, Ленинграда и с Украины.

Узкий и длинный двор. 4 больших барака. В бараках камеры разной величины, вместимостью от 70 до 300 человек каждая. Двойные сплошные нары. Уборные в бараках же, отчего нестерпимо воняет карболкой и аммиаком. Ни матрасов, ни одеял. Голые доски. Печь обогревает недостаточно, на стенах пятна от сырости. Очень тесно. На нарах приходится по 25-30 см пространства на человека независимо от комплекции. Спать можно только на боку. Переворачиваться с боку на бок можно только согласованно. Если кто-то во сне ложится на спину, его будят. Правда; эта теснота согревает, так как основной источник тепла – соседка. Сквозь голые доски проникает холод снизу. Под голову кладем свои пожитки. В общем, за ночь отдохнуть невозможно. Днем в бараке стоит гул.

Мне не повезло: все два года пребывания в Томском спецлагере я жила в многолюдной камере. В маленьких было спокойнее. Питали нас очень плохо, хлеб давали с перебоями, баланда была почти пустая.

И опять я встретила множество знакомых. Первые дни прошли в оживленных рассказах. Наши бараки запирались на замок в 6 часов вечера, потому днем мы свободно общались друг с другом, но избегали выходить не только во двор, но даже в коридор: было очень холодно, 35-45° мороза. А мы попрежнему были раздеты. Правда, настроение у нас улучшилось: мы ждали ответов на наши письма, отправленные в начале декабря. С нар чаще стали раздаваться шутки и смех, прорывалась жизнерадостность, свойственная не старым еще людям, а среди нас была и милая веселая молодежь.

... Завтра новый год! Наперекор нашей тяжелой судьбине мы его встретим не по-тюремному! Несколько человек: Фаина Цилько, Регина Гуревич, Дуся Тарасова, Соня Решетко, в том числе и я, решили устроить в бараке встречу нового года: сочинили частушки, выявили "talанты" (были и профессиональные актрисы!) и организовали "концертную бригаду". Вечером 31 декабря у себя в камере и 1 января по остальным баракам мы пели, читали стихи, ставили скетчи на барачные темы. Я вела "бодрый" конференс. Мы достигли желаемого: отвлекли своих товарищей от тяжелых воспоминаний, мрачных мыслей и слез, которые были неизбежны в этот первый, такой трагичный для нас, новогодний день.

Вдруг 10 января вызывают в комендатуру 12 человек: 10 организаторов и участников новогоднего концерта и 2-х старост бараков, А. Земскову и Л. Медведеву. Личный обыск – и нас ведут в тюрьму.

В тюрьме нам зачитывают приказ о том, что "за сочинительство и распевание антисоветских песен" нас заключают в карцер на две недели. Приказ был составлен так безграмотно, что вызвал у нас невольный смех. Отсутствовали знаки препинания и в числе антисоветских песен, сочиненных нами, перечислялись "Тихий Дон", "Каховка" и "От края и до

края". Мы пробовали остеречь на эту тему, но до помощника начальника тюрьмы юмор не дошел.

Опять обыск с раздеванием догола, и нас направляют в подвал. Первые пять человек входят, а остальных впахивают в какой-то железный ящик. Крохотная лампочка в потолке освещает пустую низенькую клетушку без окон, обитую железом. На полу невысокий деревянный помост, 15-20 см от пола, в углу параша. Мы недоумеваем: что будет дальше, как разместиться? Всем даже не усесться. Решаем поочередно стоять, сидеть и лежать. Примерились: четверо лежат, двое сидят, шестеро стоят. Так мы и прочередовались две недели. Как полагается, получали мы 1 кружку воды и 300 грамм хлеба в сутки. Не обошлось без обычных в нашей теперешней жизни курьезных несработок тюремного аппарата. У нас было две Гуревич, Регина и Елизавета. Так в карцер посадили Елизавету, хотя пела Регина. Когда в лагере прочитали приказ, Регина заявила коменданту, что произошла ошибка, и на другой день увели Регину и привели Елизавету. "Получайте тую Гуревич", — объявил нам охранник. У нас еще хватило сил посмеяться.

В первую же ночь по соседству с нами раздались крики. Мужской голос кричал: "У меня два ордена, я командир, я не позволю над собой издеваться!.." Раздался выстрел и все стихло. Мы поняли, что произошло. Крепче прижались друг к другу.

Счета дням мы не знали, так как не видели смены дня и ночи. Первые дни мы рассказывали по определенным заданиям эпизоды из своей жизни: смешной случай; первая любовь и так далее. Рассказывали подходящие к нашей обстановке вещи, непременно веселые и приятные. Я любила, когда рассказывала Фаина Цилько. У нее был такой журчащий голос, что даже стоя, я впадала в дрему. Впоследствии эти рассказы сыграли печальную роль в судьбе Цилько и Гуревич. Они просидели по году в тюрьме, а Ф. Цилько даже в смертном корпусе по делу, заведенному в том же Томском спецлагере на основании доносов старосты А. Земсковой (в прошлом коммунистка, районный прокурор), искажившей смысл их рассказов.

Через несколько дней мы так ослабели, что даже говорить не хотелось. В полутьме мерцали глаза. Мы казались призраками.

Однажды в глазок раздался шепот охранника: "Женщины, есть для вас новости. Я вам просуну газету и свечку. Читайте, а как я закашляю, все прячьте". Мы получили от него через глазок спички, свечу и газету. Читаем: речи на пленуме ЦК. Упоминается что-то об искажениях, о клеветниках, формулировки обтекаемые, но можно уловить что-то обнадеживающее, намекающее на возможность изменения репрессивной политики.

Мы прочитываем газету, возвращаем, благодарим. "Женщины, я вижу, вы не шалманки. Кто вы?" Узнав, что среди нас есть коммунистки, он обещает в свое дежурство приносить нам газеты. Мы приободряемся, обмениваемся мнениями, пробуем шутить. На следующий день дежур-

ный — какой-то зверюга, орет, матерится. Вдруг — треск, крики, опять выстрелы и шум от падения. Нам становится страшно. Лязг открываемой двери: “Выходите...” Мы решаем, что нас поведут на расстрел. Двое конвойных выстраивают нас и начинают личный обыск. До сих пор его делали женщины-надзирательницы, а тут нас ощупывают мужчины. Мы протестуем, не даемся, поднимаем крик. Из коридора даже сквозь тяжелые железные двери все слышно. Глазки открыты, из камер раздаются мужские голоса, требующие прекратить издевательство над нами: там думают, что нас насилуют. Нас заводят обратно в наш ящик и мы начинаем орать: “Прокурора! Начальника тюрьмы!..” Весь подвал кричит с нами. Мы входим в раж, откуда-то берутся силы и мы не только кричим, но и стучим.

Через некоторое время является человек, назвавший себя прокурором по надзору за Томской тюрьмой. Мы начали излагать ему свои претензии. Прокурор сначала не верил, что нас посадили в карцер по таким формулировкам и требовал постановление. Пока его принесли, мы рассказали ему об оскорбительном обыске и об условиях жизни в спецлагере. Узнав, что мы жены, и что из 12 человек 8 были членами партии, прокурор стал говорить с нами совсем другим тоном, а когда прочитал постановление, то сказал: “Черт знает что! Я к вам не имею отношения, вы на особом положении. Но с постановлением я разберусь.”

Никаких последствий его обещание не имело. Однако в наших личных делах, в моем, по крайней мере, появилась отметка: “Постановление отменено.” И все-таки мы отсидели в карцере тютелька в тютельку 14 суток. Артамонов — так назвался наш друг часовой, принес нам еще раз “Правду”, рассказал, что он сибиряк, работает надзирателем, но уходит с работы, так как “больно противно работать.” А отпускают его “по туберкулезу”.

Забегу немного вперед. В 1947 году я была “директивницей” в Байлеском лагере и мне было разрешено жить за зоной в деревне Баим, откуда родом был наш сибиряк. Поселилась я у Артамоновой. В Сибири эта фамилия распространена, как в России Ивановы. Все же я в разговоре с хозяйкой спросила, не было ли у нее родича, служившего в 38-м году в Томской тюрьме. Она сказала, что служил ее двоюродный брат. Но в 1939 году он был арестован и пропал.

Когда мне стала ясна Земскова, я подумала, что может быть, гибель Артамонова — дело ее рук, потому что, вспоминая, что через пару месяцев после карцера она вдруг спросила меня: “Ты не помнишь, как имя Артамонова, который приносил нам газеты в карцер?”

Нас выпустили из карцера 25 января. Обессиленные, ослепленные ярким солнцем, мы попадали в снег. Потом доплелись кое-как до нашего лагеря. Встретили нас там тепло и мы начали приходить в себя.

Лагерь уже приобрел иной вид. Стали приходить посылки с домашними теплыми вещами, женщины приоделись, утеплились и приободрились. Стало возможным гулять по дворику. Нам, карцерникам, было хуже: мы

лишились права на получение посылки на 3 месяца. Мне сообщили, что посылка для меня прибыла, но отправлена на склад. Но самый факт ее существования был радостью — значит, родители живы.

Из двух тысяч с лишним населения лагеря выделялась одна женщина, Людмила Шапошникова. Ее уважал весь лагерь. Ленинградская коммунистка с 14 или 16-го года, не помню, в прошлом работница, до своего ареста она была членом ВЦИКа, членом горкома партии, председателем ЛенЖЭТа (парфюмерная промышленность Ленинграда) и близким другом Кирова. Внешне очень приятная, с умным спокойным и красивым лицом (ее портили только искривленные, повидимому, еще детским рахитом ноги), Людмила держалась так уверенно, с таким достоинством, что ее нельзя было не уважать. Она производила впечатление человека большой нравственной и физической чистоты. Без всякой позы, без чванства, без излишней самоуверенности, очень скромная — она была авторитетом для нас. Старост в лагере мы не имели права выбирать, их назначала администрация лагеря по каким-то ей одной известным признакам. Надо сказать, что мы изнемогали от голода. Кормили нас из тюремного котла, но, пользуясь нашей полной от всего изолированностью, беззастенчиво обкрадывали. Чтобы поправить положение, нам разрешили организовать свою кухню и поставить руководить этим делом человека, которому бы доверяли все бараки. Мы назвали Шапошникову. Это было в марте 1938 года. Нам 7 дней не давали хлеба, да и до этого недодавали, присылали в лагерь кипяток и соевую кашу. Началась дистрофия, голодные обмороки, поносы, стали распухать ноги. Мы могли заявлять свои протесты... только надзирателям на поверке, никого больше мы не видели. А из-за полного произвола писать тоже было нельзя. И вдруг... из тюремных ворот появились какие-то люди, как все комиссии — упитанные, вылощенные. Как раз в этот момент я с двумя другими женщинами волоком тащила по земле полуживую грузную и крупную Тамару Михайловну, которая вдруг сразу обезножила. Зрелище было мрачное. На вопрос, что с нею, мы ответили: ослабела от голода. Спросили наши фамилии. Вызвали в комендатуру и при начальнике тюрьмы Гнедике стали нас допрашивать первыми. Из каждого барака вызвали по 10 человек. Все подтвердили наши слова. Сразу в бараки прислали хлеб, сахар, баланду и вот тогда-то и предложили самим организовать лагерную кухню.

Не суетясь, тихо, скромно, деловито Людмила Кузьминишна за несколько дней наладила питание двухтысячного лагеря так, что ни одна крупинка не прошла мимо котла. Кухня работала скрупулезно честно и бесперебойно, несмотря на скудный тюремный рацион. Мы перестали голодать. Людмила всегда была окружена людьми. Молоденькие и веселые наши дворники — Лиза Горбунова и Таня Извекова, были ее верными пажами. Дрова для кухни они пилили и кололи вдохновенно и наградой им была милая улыбка Людмилы, согревавшая их не хуже миски баланды. Когда у нас накапливались вопросы, мы шли поговорить к Людмиле.

Ее самую мучили те же вопросы, что и нас: что же случилось в нашей стране и в партии? Людмила разделяла нашу точку зрения и резко нападала на Сталина. "Это диктатор, который устраняет всех, кто ему мешает." – "Чего он хочет?" – "Единоличного правления. И убирает всех, кто может с этим не примириться." Она думала, что Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рудзутак, Эйхе именно были уничтожены. А оформление всего этого – дело госбезопасности. Кирова Шапошникова глубоко уважала и ценила. Она подробно рассказывала об убийстве Кирова и о странных малопонятных обстоятельствах убийства. Она лично знала Николаева. По ее словам он – неврастеник, очень неуравновешенный человек, интеллигент, большой поклонник Достоевского. В разговоре с ней он как-то упомянул, что с интересом читал Шпенглера. Он любил и очень ревновал свою молодую жену, которая была очень красива и работала в секретариате Кирова, была его личным секретарем и стенографисткой. Людмила высказывала предположение, что Николаев убил Кирова в состоянии депрессии на почве ревности. А политический характер был придан убийству в целях использования в борьбе Сталина с оппозицией. Людмила Кузьминишна говорила, что это было не только лично ее мнение.

Я знала, что Людмила была в дружбе с ленинградскими чекистами. Я с ней в 1933 году познакомилась в Ленинграде у Запорожца. Потому я спросила ее, а что же говорили об убийстве Кирова Медведь и Запорожец. Она ответила: "Они говорили то, что им надо было сказать. Разве вы этого не знаете?" Я спросила: "Как Киров относился к Сталину? Тоже как к хозяину?" – "Ну нет," – сказала Людмила.

Мне запомнились ее слова о том, что Киров возмущался ответом Сталина на какую-то просьбу Крупской, называя этот ответ "очередным хамством".

Летом 1939 года нам объявили, что жены могут просить о помиловании в такой редакции: признавая свою вину перед родиной в том, что я не сигнализировала партии и правительству о преступной деятельности моего мужа... прошу меня помиловать. Людмила первой отказалась от этой возможности. Из 2000 жен лишь несколько отказались подавать просьбу о помиловании в такой унижительной форме. Я была в числе этих немногих. Во-первых, я не считала себя виновной ни в чем, во-вторых, я не верила в виновность мужа. Людмила же выставляла простой довод: массовые заявления, написанные в одной и той же позорной форме, нужны для использования в каких-то неблагоприятных целях, вернее всего, для оправдания массового террора. Ее рассуждения стали известны 3-й части (отдел госбезопасности в лагере), Людмилу арестовали и водворили в кутузку (не в тюрьму) на территории лагеря. Она объявила голодовку и держалась 9 дней, требуя прокурора и отказываясь отвечать на какие бы то ни было вопросы. На 10-й день явился прокурор и вскоре Людмила была освобождена и выпущена в зону. Мы окружили ее, исхудавшую, обессиленную, прозрачную, такой нежностью и уважением,

что это ее очень поддержало. Вопрос же о помиловании затих. Конечно, это был какой-то фортель со стороны властей. Как я уже сказала, было это летом 39-го года.

Вернусь, однако, назад к 38-му году. Это был самый тяжелый для меня год. Может быть, потому, что первый, а потом уж я попривыкла. Но все меня несказанно томило: физическая усталость от тяжелых бытовых условий, полное неведение о судьбе родных и особенно — бессмысленность существования, полное безделье, это составляло особенность режима специзолятора. Кроме того, мы были здесь на временном положении: нас собирались отправить на север, в Березовку, в тайгу, где нам самим предстояло выстроить для себя лагерь, наподобие Акмолинского. Потому нас ничем не занимали, а выпустить в общую зону не позволяло наше спецположение. Все это усугубляло подавленность. Ни книг, ни газет нам не давали. Наши рукодельницы целые дни возились с шитьем, некоторые из них отлично вышивали. Я же, будучи абсолютно бездарной в отношении рукоделия, не могла хотя бы этим занять время. Да и настроения подходящего не было. Целые дни я была одна в этом большом человеческом муравейнике и думала, думала... Выводы, к которым я пришла, дались мне нелегко. Душу я отводила с Парадовской, Шапошниковой, Дейч. Но сколько можно разговаривать? Дни были мучительно однообразны, тем более, что мы не знали, какое сегодня число, какой день. С отвращением ожидала я утра, зная, что завтрашний день будет так же бессмыслен и однообразен, как сегодняшней и вчерашний.

В свете моих выводов, я не верила, как мои товарки, во временность нашего положения, в то, что вопрос о нас пересмотрят. О себе я думала: моя жизнь кончена. Я до конца своих дней обречена на изгнание. И мне безудержно хотелось в лето 38-го года, чтобы пришел мой конец. Единственный раз за 17 с половиной лет заключения, хотя мне случалось быть в гораздо худших условиях, я хотела умереть: просто стало отвратительно жить. Я все приготовила, детально обдумала и ночью решила повеситься. Когда я вышагивала по нашему прогулочному пятаку, вынашивая свой план, ко мне подошла Лиза Геворкян. Недалекая, но хорошая, спокойная, честная, она заговорила со мной и отвлекла, поддержала, напомнив, что мы коммунисты и должны быть стойкими. Не то, чтобы ее слова были какими-то особыми, но я просто нуждалась тогда в ласковом слове, которое она мне и подарила, сама того не зная, не поняв, что дало мне ее участие. Больше таких приступов малодушия у меня не было.

В жизни лагеря появилось нечто новое. Весной 38-го нам вдруг выдали газеты по одному экземпляру на барак для чтения вслух. Это были номера, посвященные судебному процессу Бухарина, Крестинского, Ягоды и так далее. Как мы потом поняли, это было сделано с определенным умыслом — «выявить настроение». «Выявителей» было достаточно, потому что результаты мы начали чувствовать с лета 38-го года. Не проходило недели, чтобы от нас кого-нибудь не увозили в тюрьму. А затем в 3-ю часть начинали вызывать других женщин, уже в качестве свидетелей.

Как и везде, в тюрьме все тайное становится явным рано или поздно. Так нам и открылось, что среди нас есть довольно значительное число осведомителей, а также провокаторов, по доносам которых заводились новые дела. Это выявили новые "обвиняемые", с которыми мы позднее встречались в других лагерях. Плодовитостью в "шитье" дел отличались А. Земскова, А. Мальцева, Н. Васильева (староста), Анна (забыла фамилию) из Одессы. Эта последняя посадила не меньше десятка своих соседок по камере. Правда, мы, еще неискушенные, тем не менее кое-что за ними замечали. У них, например, были льготы в получении посылок. Они почему-то первыми узнали, где их дети. А. Земскова прямо в лоб спрашивала: "Что ты думаешь о Бухарине? О Рыкове?" и так далее. Лично мне Земскова со своей навязчивостью была непонятна, и я с ней в разговоры на политические темы не вступала. И все же, когда в 1949 году меня арестовали вторично, я в вопросах следователя почувствовала информацию Земсковой. А вот к Ф. Цилько Земскова крепко руку приложила. Фаину, беднягу, год держали в тюрьме и даже в корпусе смертников, и все по измышлениям Земсковой, использовавшей совершенно невинный рассказ Цилько в Томской тюрьме, в карцере, о каком-то знакомом мингреле. Этот мингрел превратился в иностранца, агента неведомой разведки.

Мне это стало известно, потому что меня об этом мингреле тоже спрашивали, как свидетеля. Я, конечно, все отвергала категорически.

Все эти вызовы длились все лето и осень и очень нервировали нас. Когда за человеком закрывалась дверь тюрьмы, появлялось чувство, что страшное чудовище поглотило человека навсегда.

Таким чудовищем рисовалась нам стоявшая напротив нашего барака Томская тюрьма, тяжелое кирпично-красное здание с зарешеченными окнами. Однажды летом мы увидели в одном из окон мертвенно-бледное лицо мужчины. Он висел на решетке и что-то кричал нам. Его срывали с окна, тянули вниз, повидимому, охранник, но мужчина появлялся снова и снова. Мы называли его: наш друг. Много огорчений доставлял нам деревянный барак, расположенный напротив нашего двора. В нем за решеткой находились мальчики-малолетки — худые, полуголые, с землистыми лицами, они выпрашивали у нас хлеб, перемежая свои просьбы отвратительно циничными возгласами. Нам было их бесконечно жалко и сердце болело, потому что каждая думала: вот и мой сын, должно, быть, так же страдает где-то. Мы знали, что наших детей забрали в приемник НКВД.

Мы упрашивали нашу надзирательницу — пожилую человечную Тельманову, и она передавала мальчикам хлеб.

Особенно печально смотрела на мальчишек Сая Якир, будто догадывалась, что ее Петьку не миновала участь наших малолетних соседей.

Что делается на свете, мы не знали: к нам давно никого не приводили. Надзиратели были очень строги и часто менялись. Связь с внешним

миром, даже с тюремным двором, наладить не удавалось, ибо нас запирали на замок и занавешивали окна, даже когда ассенизатор въезжал во двор со своей бочкой.

И радостью, и горем была для меня детская комната. В нашем лагере было 40 ребятишек с матерями, дети были в возрасте до полутора лет. В основном это были груднички, при аресте матерей взятые вместе с ними. Москвичек среди матерей не было, в основном жительницы Томска, Ленинграда, много украинок. Была среди них жена машиниста со своим десятым малышом — девять остальных распихали неизвестно где. Общим любимцем был зеленоглазый круглолицый Вовочка, который очень внятно говорил: “Внимание, женщины!”, когда видел охранника, и сейчас же просил: “Дай черпак!” Имелся в виду черпак супа...

40 матерей и 40 детей жили в одной большой камере. Вонь стояла густая: от пеленок, от горшков. Было тепло, но сыро. Спали дети вместе с матерями на топчанах. И хотя детям давали особый паек, молока и витаминов было недостаточно и у детей был нездоровый заморенный вид. Позднее начались трагические сцены, которые выматывали силы не только у матерей, но и у нас всех.

Дело в том, что поступил приказ, по которому всех детей по достижении двух лет надо было отдавать либо родственникам, либо в детские дома. По сведениям матерей, тюрьма разыскивала родственников, и начали они приезжать за детьми. Что переживали матери, как горько рыдали, а вместе с ними рыдали и мы, вспоминать страшно. Каждая вспоминала своего, неизвестно где находившегося ребенка...

В декабре 1938 года проводилась перепись населения. Переписывать нас явились какие-то чины в тюремной форме. Среди них был молодой парень в штатском с комсомольским значком. Окончив перепись и собрав бумаги, он оставил на столе газету, подстеленную под чернильницу. Газета была от 4 декабря 1938 года. И в ней петитом было несколько строк о назначении Ежова наркомводом. Словно громом поразило нас это известие. Всемогущий, не ограниченный никаким законом, твердокаменный и... наркомвод! Что это? Изменение внутренней политики? Признание краха этого курса? Пересмотр дел 37-38-го годов? Как это скажется на наших судьбах? Мы заволновались. Мучительное однообразие жизни, к счастью, было нарушено...